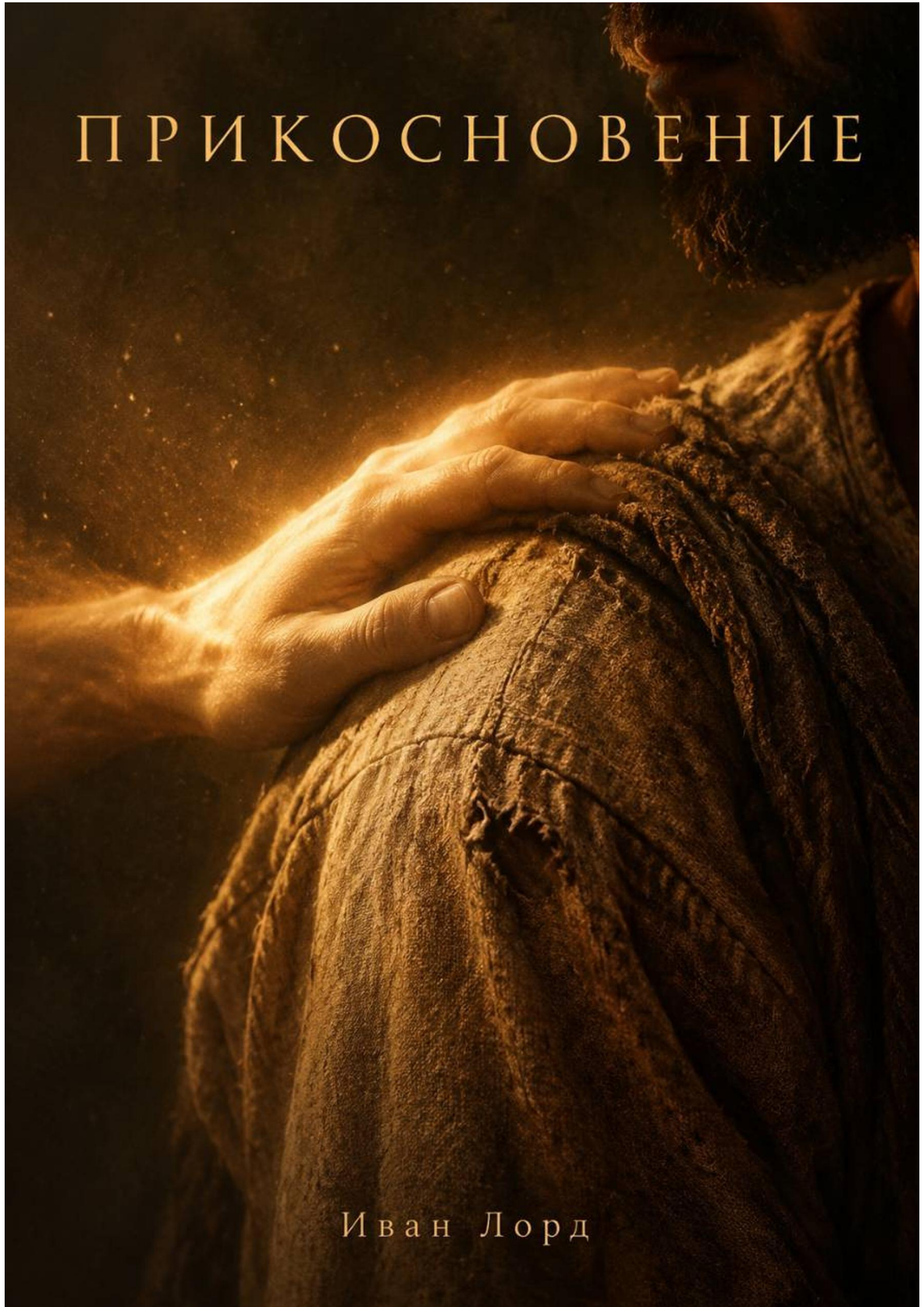


ПРИКОСНОВЕНИЕ



Иван Лорд

Иван Лорд

Прикосновение

«Автор»

2026

Лорд И.

Прикосновение / И. Лорд — «Автор», 2026

Он был смертником. Он должен был убить десятки людей. Но за секунду до взрыва кто-то коснулся его плеча и сказал: «Я прощаю тебя». Аюб возвращается домой — к жене и четверым детям — не с деньгами, а с Евангелием и тайной, которая может стоить им всем жизни. Его бывшие соратники уже ищут его. Семья бежит через пустыню, ведомая не картой, а голосом, который слышит только тот, кто готов умереть. Это история о любви, которая сильнее страха. О вере, которая не спасает от смерти, но побеждает её. О семье, которая выбирает Христа — и платит за это жизнью. Роман основан на реальных событиях, о которых молчат новости.

© Лорд И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Последний рассвет	5
Глава 2. Книга в пыли	8
Глава 3. Возвращение блудного мужа	12
Глава 4. Семя, упавшее в дом	16
Глава 5. Сон Сафии	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Иван Лорд

Прикосновение

Глава 1. Последний рассвет

Свет ещё не коснулся минаретов, когда я проснулся — не от шума, хотя город никогда не спал в те дни, а от особенной, звенящей тишины внутри меня, которая предшествует событиям, уже вырезанным на скрижалях, но ещё не явленным во времени. Я лежал, глядя в потолок, и перебирал в уме слова шейха Тарика, сказанные накануне с той бережной, почти отцовской интонацией, от которой моя решимость всегда крепла, точно ствол дерева, подпёртый колом: «Ты — Кадир, Могучий, и сегодня твоя рука станет рукой самого милосердного Аллаха, карающей и воздающей». И я повторял их, как повторяют аяты, стараясь, чтобы смысл заполнил все полости моего существа и вытеснил то иное, чему я не мог подобрать имени, но что жило во мне подобно затаившемуся зверю — не страх, нет, страх я научился душить задолго до того, как впервые взял в руки оружие, а скорее, безымянную, глухую тоску, которая накатывала в предрассветные часы, когда даже птицы ещё молчат, и весь мир кажется оставленным своим Творцом.

Я совершил омовение — вода была холодна, как пальцы покойника, и, стекая по локтям, возвращала меня к телесности, к необходимости помнить, что я — лишь инструмент, и инструмент не должен дрожать. Я расстелил молитвенный коврик, и, совершая намаз, стараясь, чтобы каждое движение было безупречным, потому что безупречность формы способна на время утихомирить бездну, разверзающуюся внутри. Но даже произнося слова фатихи, я чувствовал, как мой язык движется отдельно от сердца, и где-то на самом дне, под спудом благочестивых формул, билась неозвученная мысль: «Неужели Ты, знающий всё сокровенное, не видишь, что я — не Кадир, не Могучий, а всего лишь Аюб, тот, кто устал и хочет домой?» Но я отогнал её, как отгоняют муху от лица спящего ребёнка, бережно и беззвучно.

Рассвет наконец просочился сквозь щели в ставнях, и я увидел, как пылинки танцуют в его лучах — медленно, торжественно, словно каждая из них знала, что этот танец будет последним, что через несколько часов она, быть может, обратится в пепел или смешается с кровью, и само её существование перестанет быть заметным для кого бы то ни было, кроме Всевидящего. Я оделся в одежду, которая не должна была привлекать внимания, но внутри неё, под слоями ткани, покоился пояс — не тот, что носят паломники, а иной, начинённый не молитвами, а металлом и смертью. Он охлаждал кожу, и этот холод был почти дружественным, почти утешительным, как прикосновение руки товарища, который говорит: «Ты не один». Я проверил контакты, кнопку, провод, уходящий под рубашку, — всё было исполнено с тем совершенством, которое внушает не гордость, а странное, почти молитвенное спокойствие. Так, вероятно, чувствовал себя плотник Нух, когда вбивал последний гвоздь в ковчег, зная, что скоро воды сомкнутся над всем живым, но его семья будет спасена. Только мой ковчег должен был не спасать, а уничтожать, и эта перевёрнутая символика на мгновение обожгла меня — я даже задержал дыхание, пытаюсь уловить, не было ли в ней хулы, но, не найдя ответа, просто застегнул верхнюю пуговицу и вышел на улицу.

Город встретил меня запахом гари, пыли и чего-то кисловато-сладкого, что всегда висит в воздухе там, где недавно рвались снаряды. Алеппо, древний Халеб, переживший хеттов, ассирийцев, римлян, крестоносцев и монголов, теперь умирал в конвульсиях братоубийственной войны, и его улицы, некогда полные голосов торговцев и звона медной посуды, превратились в лабиринты молчания, где каждый прохожий казался тенью самого себя, а каждый звук — предвестником беды. Я шёл к рынку, самому людному месту в этот час, и сердце моё билось разме-

ренно, как метроном, отсчитывающий последние такты симфонии, которую никто не услышит. Я думал о том, что говорил шейх Тарик о райских гуриях, о садах, где текут реки, о вечном блаженстве, которое откроется шахиду в тот самый миг, когда его кровь смешается с кровью врагов. Но мысли мои, против воли, соскальзывали к иным образам: к лицу Сафии, когда она провожала меня в эту «командировку», к рукам её, которые так умело заплетали косы нашей дочери Зейнаб, к смеху маленького Юсуфа, который ещё не понимал, что такое война и почему папа уходит так надолго. Я гнал их прочь — ведь шахид не должен принадлежать никому, кроме Аллаха, — но они возвращались, точно волны прибоя, лижущие камень, и оставляли на душе мокрые следы, которые не высыхали.

Рынок уже просыпался. Продавцы раскладывали товар — финики, лепёшки, дешёвую одежду, — и в их движениях было то механическое отчаяние, которое свойственно людям, продолжающим жить среди смерти. Женщины в чёрных абайях торговались тихими голосами, дети цеплялись за подолы, старик с трясущимися руками продавал пачку сигарет поштучно. Я выбрал место в центре, где толпа была гуще всего, и встал, прислонившись к стене, стараясь быть незаметным, но при этом ощущая себя осью, вокруг которой вот-вот завертится колесо истории. Палец мой скользнул под одежду и лёг на кнопку — холодную, гладкую, чуть ребристую, — и в этот миг время изменило свою природу: оно перестало течь равномерно, а сгустилось в одну-единственную точку, в каплю абсолютного настоящего, которая вот-вот должна была упасть и разбиться.

Я посмотрел на небо — оно было бледно-голубым, с прожилками высоких облаков, — и впервые за многие годы попытался молиться не заученными словами, а тем, что рвалось из самой глубины, из того подвала души, куда я сам боялся спускаться. «Если Ты есть, — сказал я беззвучно, — если Ты видишь меня сейчас, то знай: я не знаю, прав ли я. Я делаю то, чему меня научили, то, что считаю должным, но я не знаю. И если это грех — прости, но иначе я не умею». Я не ждал ответа — какой ответ может быть дан тому, кто через несколько секунд предстанет перед Престолом? — но палец мой уже начал движение, нажимая кнопку до характерного щелчка, который должен был запустить необратимую цепь.

И тогда случилось то, чего не должно было случиться. Не грохот, не вспышка, не боль — ничего из того, что я ожидал, не произошло. Вместо этого я почувствовал прикосновение. Чьё-то — Чьё? — тепло легло мне на плечо, проникло сквозь ткань, кожу, мышцы, кости, достигло того самого подвала, где я только что прятался от самого себя, и наполнило его светом, невыносимым в своей нежности, парализующим не страхом, а любовью, которую у меня не было органа, чтобы вместить. Я замер, и палец мой соскользнул с кнопки, а рынок продолжал жить своей жизнью, не ведая, что только что был отменён конец света. И в этой тишине, которая была громче любого взрыва, прозвучал голос — не в ушах, а в самом сердце, в той точке, где, как говорят суфии, обитает тайна тайн, — и произнёс слова, которых я никогда не забуду: «Я прощаю тебя».

Мир перевернулся. Всё, чему меня учили, всё, на чём я строил свою жизнь и смерть, — всё это в один миг стало пеплом, и из этого пепла прорастало нечто, чему у меня не было имени. Я хотел спросить: «Кто Ты, прощающий меня?» — но язык мой онемел. А голос, не дожидаясь вопроса, ответил, и слова эти врезались в меня, как гвозди в древесину: «Я смь путь и истина и жизнь». И только тогда, стоя посреди рынка, полного людей, которые понятия не имели, что происходит в двух шагах от них, я осознал, Кто говорил со мной, и осознание это было подобно смерти — смерти всего, чем я был до этого. Имя, которое я произнёс одними губами, было «Иса», но прозвучало оно совсем не так, как звучало в мечети, — в нём была сладость и власть, и бесконечная, разрывающая сердце любовь.

Сколько я простоял так? Минуту? Час? Я не знаю. Время перестало существовать, а когда вернулось, я обнаружил, что сижу на корточках у стены, и по щекам моим текут слёзы — горячие, чужие, потому что плакать я разучился ещё в детстве. Кнопка, вжатая мною до отказа, так

и не подала сигнала — механизм молчал, как будто сама смерть отказалась принять меня в свои объятия. Я огляделся: никто не обращал на меня внимания, все были заняты своими делами, и только старик, тот самый, что продавал сигареты, смотрел на меня долгим, необъяснимо спокойным взглядом, в котором мне почудилось нечто похожее на понимание. Я поднялся, ноги были ватными, и побрёл прочь, туда, где улицы сужались и переходили в лабиринты развалин, унося с собой пояс, который стал вдруг бессмысленным грузом, и тайну, которая жгла меня изнутри, как причастие жжёт уста непосвящённого.

Солнце уже поднялось над минаретами, и свет его был резок и беспощаден, но внутри меня всё ещё длился тот предрассветный час, когда птицы молчат, а мир кажется оставленным — но теперь уже не Творцом, а мною, оставившим Его. Впрочем, нет, не Его. Я оставил того бога, которого знал прежде, а Он — Он нашёл меня на рынке, среди фиников и сигарет, и сказал, что прощает. И я шёл, спотыкаясь о камни, и не понимал, что мне делать с этим прощением, как не понимает слепорождённый, впервые увидевший свет, куда ему идти и зачем.

Глава 2. Книга в пыли

Я шёл, не разбирая дороги, и камни под ногами казались мне словами разрушенного города — теми словами, что уже никому не скажешь и не услышишь, но которые всё ещё хранят свою страшную, немую весомость. Улицы сужались, петляли, уводили меня всё дальше от рынка, от людей, от самого себя прежнего, оставшегося стоять у стены с нажатой до отказа кнопкой, которая так и не сработала. Тело моё двигалось, повинуюсь не разуму и даже не инстинкту, а тому тёмному, досознательному течению, которое несёт раненого зверя прочь от места, где пролилась его кровь, в укрытие, в нору, в тишину, где можнолизать рану или умереть — безразлично. И только одна мысль билась во мне, как мотылёк о стекло, с той же бессмысленной, упрямой ритмичностью: «Он сказал — прощаю. Он сказал — Я путь. Я истина. Я жизнь. Он сказал это мне, Аюбу, который через мгновение должен был стать убийцей. Мне, Кадиру, Могучему, который оказался слабее».

Пояс всё ещё стягивал мою грудь, но теперь я ощущал его иначе: не как обещание рая и не как орудие возмездия, а как свидетельство того, что прежний мир не отпустит меня просто так, что он будет цепляться за моё тело, даже когда душа уже выскользнула из его объятий. Я снял его, едва оказавшись в узком проулке между двумя полуобрушенными домами, где пахло мочой, гарью и диким жасмином, чей куст каким-то чудом выжил под грудой бетонных обломков и теперь источал свой одуряющий, почти неприличный в этом месте аромат. Я закопал пояс под битым кирпичом, тщательно, как закапывают не просто улику, а часть собственной души, которую хочешь забыть, но которая будет вечно разлагаться в земле, отравляя грунтовые воды снов.

Потом я пошёл дальше, вглубь квартала, который когда-то был зажиточным, а теперь лежал в руинах — не столько от бомб, сколько от того медленного, всепожирающего запустения, что приходит в города, покинутые надеждой. Здесь не было ни души, и даже эхо моих шагов звучало приглушённо, точно стыдясь нарушить великую тишину, установившуюся между мной и Тем, Кто коснулся моего плеча. Я вошёл в один из домов, вернее, в то, что от него осталось: лестница, ведущая в пустоту, дверной проём без двери, комната с провалившимся полом и уцелевшим углом, где стоял остов кровати и лежал на боку платяной шкаф, из которого вывалился женский платок, расшитый серебряной нитью, — вероятно, приданое невесты, так и не успевшей стать женой. Я опустился на пол в этом углу, спиной к стене, которая ещё хранила остатки штукатурки, и впервые за много часов позволил себе дышать не украдкой, а полной грудью, чувствуя, как воздух со свистом входит в лёгкие и выходит из них, унося по капле то нечеловеческое напряжение, в котором я пребывал с того самого мига на рынке.

Воздух был не пустой — он был населен присутствием. Тем самым Присутствием, которое не нуждается в словах, чтобы быть узнанным. Я сидел, обхватив колени руками, и смотрел, как солнечный луч медленно ползёт по противоположной стене, высвечивая то трещину, то облупившуюся краску, то засохший цветок, неизвестно как попавший сюда, и всё это казалось мне иероглифами какого-то священного текста, который я разучился читать, но который всё ещё обращался ко мне на языке, предшествовавшем Вавилону. Я попытался молиться — так, как молился всегда: «Альхамдулилляхи раббиль алямин...» — но слова застревали в горле, как рыбы кости, и я понял, что больше не могу обращаться к Тому, Кого привык называть Аллахом, с этими заученными, стёртыми от многократного повторения формулами. Не потому, что Он перестал существовать, а потому, что между Ним и мной встал Некто Иной, произнёсший «прощаю», и это «прощаю» перечеркнуло всю мою прежнюю теологию, как перечёркивают неверный чертёж, оставляя только чистый лист и страх перед первой линией.

Я не знаю, сколько прошло времени — день, ночь, ещё один день, — потому что в том состоянии, в котором я пребывал, время утратило свою линейность и текло кругами, возвра-

щаясь к одной и той же точке: прикосновение, голос, слёзы. Я то проваливался в тяжёлое, похожее на обморок забытье, то выныривал из него в реальность, которая казалась ещё более зыбкой, чем сон. Один раз я проснулся оттого, что по моей руке пробежала ящерица — крохотное, хрупкое создание, пережившее войну, — и её прикосновение почему-то напомнило мне то, первое, и я разрыдался, как ребёнок, потерявший мать в толпе. В другой раз я услышал далёкий голос муэдзина, призывающего к молитве, и впервые в жизни не поднялся, не совершил омовения, не расстелил коврика, а остался сидеть, прислушиваясь к тому, как слова «Аллаху акбар» ударяются о стены моего сознания и отскакивают, не проникая внутрь, потому что внутри уже не было места ничему, кроме того одного, что я услышал на рынке.

На второй день (или третий? — я не вёл счёта) голод и жажда стали невыносимыми. Я выполз из своего убежища в поисках воды и, блуждая по развалинам, наткнулся на то, что когда-то было библиотекой или, может быть, просто комнатой, где жили люди, любившие книги. Стеллажи лежали на полу, тома были разбросаны, многие обгорели, но некоторые уцелели, и среди них мой взгляд, водимый, как я теперь понимаю, не случаем, а Рукой, выхватил одну, небольшую, в потрёпанном чёрном переплёте с золотым крестом на обложке. Я поднял её, и пальцы мои задрожали, потому что я знал — нет, не умом, но тем новым, ещё не окрепшим чувством, которое родилось во мне вместе с прикосновением, — что эта книга и есть ответ, точнее, начало ответа на вопрос, который я боялся сформулировать.

Я вернулся в свой угол, прижимая книгу к груди, как прижимают найденного ребёнка, и, только усевшись и кое-как утолив жажду дождевой водой из ржавой бочки, открыл её. Это было Евангелие. Инджиль. Та самая книга, которую Коран называет ниспосланной пророку Исе, но которую ни один правоверный никогда не читал, потому что чтение её было харамом, запретом, ибо текст её, как говорил шейх Тарик, искажён иудеями и христианами до неузнаваемости. Но сейчас, держа её в руках, я чувствовал не страх, а тот трепет, с которым, вероятно, Моисей подходил к неопалимой купине, чувствуя, что земля под ногами становится святой не потому, что она иная по составу, а потому, что на неё ступил Бог.

Я начал читать — не с первой страницы, а с того места, где книга сама раскрылась, словно желая указать мне на нечто, предназначенное именно для этого часа. Это было Евангелие от Иоанна, и первые же слова, которые я прочёл, заставили моё сердце остановиться и забиться вновь уже в ином, неведомом ритме: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я знал эти понятия — «калям», слово, «Аллах», Бог, — но здесь они были соединены так, как никогда не соединялись в Коране. Здесь говорилось, что Слово не было сотворено, что Оно было в начале, что Оно Само — Бог. И это Слово, как я читал дальше, «стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Истина. Аль-Хакк. Одно из девяносто девяти имён Аллаха — но здесь Истина обитала среди людей, ела с ними, спала, плакала, прикасалась к прокажённым, и это было так невыносимо, так чудовищно в своей близости, что я захлопнул книгу и долго сидел, глядя в стену.

Потом я открыл её снова, и мои глаза, ведомые всё той же Рукой, побежали по строкам, выхватывая отдельные фразы, которые складывались в узор, подобный тем узорам на старых коврах, что ткут в моей родной деревне, — узор, который кажется хаотичным, пока не отойдёшь на расстояние и не увидишь всего замысла. «Я свет миру». «Я хлеб жизни». «Я воскресение и жизнь». И наконец — я нашёл их, эти слова, и дыхание моё пресеклось, потому что именно их я услышал там, на рынке, среди фиников и сигарет: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я прочитал их вслух, одними губами, пробуя на вкус каждое слово, и они отозвались во мне той же сладостью и той же властью, что и там, и я понял: это не просто совпадение, не просто случайная цитата из запретной книги — это был ответ. Ответ на вопрос, который я не успел задать. Имя Того, Кто коснулся моего плеча, было Иисус.

Я читал дальше, уже не в силах оторваться, и страницы мелькали одна за другой, как дни творения. Я читал о том, как Он исцелял больных и изгонял бесов, как прощал грехи и воскрешал мёртвых, как его ненавидели священники и книжники, как Он знал, что Его убьют, и всё равно шёл в Иерусалим. Я читал о Тайной вечере и о том, как Он умывал ноги ученикам, — это поразило меня едва ли не больше всего остального: Бог, умывающий ноги смертным, Бог, стоящий на коленях перед теми, кто через несколько часов предаст и отречётся. Я читал о Гефсимании и о кровавом поте, о поцелуе Иуды и бегстве учеников, о суде у Пилата и бичевании, о крестном пути и о том, как Он, уже пригвождённый, молился за Своих убийц: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И здесь я снова заплакал, потому что эти слова были обращены и ко мне — ко мне, который не знал, что делал, который шёл убивать, думая, что служит Богу, и был прощён прежде, чем успел попросить о прощении.

Я читал, и мир вокруг меня переставал существовать. Я не чувствовал ни голода, ни жажды, ни холода ночи, которая спускалась на руины. Я читал о воскресении — как женщины пришли ко гробу и нашли камень отваленным, как ангелы возвестили им: «Что вы ищите живого между мёртвыми?» — и эти слова пронзили меня, потому что я сам всю жизнь искал живого Бога среди мёртвых догматов, среди правил и запретов, среди ненависти, которая рядилась в одежды благочестия. Я читал о явлении Христа ученикам, о Фоме, который не верил, пока не вложил персты в раны от гвоздей, — и я понял его, потому что и мне нужны были эти раны, мне нужно было увидеть, что Бог, Который прощает, — это Тот же Бог, Который страдает, Который берёт на Себя боль мира и преображает её в любовь.

К исходу третьего дня (теперь я был почти уверен, что прошло именно три дня — три дня, как те три дня между распятием и воскресением, и это совпадение наполнило меня священным ужасом) я закрыл книгу. Она была прочитана не до конца, но то, что я успел прочесть, уже совершило во мне переворот, подобный тому, какой совершает землетрясение, меняя русла рек и очертания берегов. Я сидел в своём углу, и в душе моей боролись два голоса. Один — голос шейха Тарика, голос всей моей прежней жизни — говорил: «Это шайтан, это искушение, это искажённая книга, отрекись, вернись к истинному исламу». Другой — тот самый, что прозвучал на рынке, — молчал, но само Его молчание было красноречивее любых аргументов, потому что в нём была та полнота, которую не могут дать ни слова, ни книги, ни даже самые возвышенные молитвы.

Я поднялся. Тело моё затекло и ныло, во рту был привкус пыли и железа, одежда пропахла гарью, но внутри, в том самом подвале души, куда я спустился на рынке, теперь горел свет — не яркий, не ослепительный, но ровный и тёплый, как пламя свечи в окне дома, где тебя ждут. Я положил Евангелие за пазуху, туда, где ещё недавно был пояс шахида, и это замещение показалось мне символичным настолько, что я едва не рассмеялся — но смех мой был бы похож на плач, а плач — на молитву, и я просто стоял, прижимая книгу к сердцу.

Я знал, что должен сделать. Я должен был вернуться домой, к Сафии, к детям, и рассказать им всё. Рассказать о том, что случилось на рынке, о том, что я прочёл в этой книге, о Том, Кто простил меня и Кто теперь — я верил в это с каждой секундой всё больше — есть единственный путь, единственная истина и единственная жизнь. Я знал, что Сафия, возможно, не поймёт. Знал, что она будет напугана, рассержена, что она, скорее всего, сочтёт меня одержимым. Знал, что я рискую потерять всё — семью, дом, саму жизнь. Но я знал и другое: то, что я обрёл, стоило любой потери. Потому что если Он действительно есть Путь, то идти по нему можно только с открытым сердцем, а если Он — Истина, то её нельзя скрывать, как зарытый в землю талант, и если Он — Жизнь, то смерть больше не имеет надо мной власти.

Я вышел из развалин на закате четвёртого дня. Солнце садилось за минаретами, и небо было алым, как кровь, но я смотрел на него без страха. В ушах моих звучали слова, которые я прочёл в самом конце, перед тем как закрыть книгу: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Я повторял их, как путник в пустыне повторяет название оазиса, к которому идёт, и с

каждым шагом они становились не просто словами, а реальностью, в которую я вступал, как вступают в море, зная, что дна не будет, но Держащий над водами не даст утонуть.

Я шёл домой. Я шёл к Сафие. Я шёл рассказывать о Воскресшем.

Глава 3. Возвращение блудного мужа

Дорога домой заняла у меня почти двое суток, и каждый шаг этого пути был пропитан молитвой — не той, что я знал прежде, а новой, робкой, едва оперившейся, как птенец, выпавший из гнезда и ещё не умеющий летать, но уже инстинктивно расправляющий крылья навстречу ветру. Я шёл просёлочными дорогами, избегая блокпостов и военных патрулей, и развалины Алеппо постепенно сменялись оливковыми рощами, которые война пощадила — возможно, потому, что у войны своя, непостижимая логика: она разрушает жилища людей, но обходит стороной деревья, дающие плод и тень, как будто в глубине своей бессмысленной ярости всё же признаёт некий древний, довременный закон, запрещающий поднимать руку на творение Божье.

Я нёс в груди Евангелие, и оно жгло меня — не физическим жаром, а тем внутренним огнём, о котором говорил пророк Иеремия, чьи слова я прочёл в одном из псалмов, найденных мною в той же книге: «Было слово Твоё в сердце моём, как огонь горящий, заключённый в костях моих». Да, именно так — заключённый в костях. Я не мог молчать. Я не мог прийти домой и сделать вид, что ничего не произошло, что я всё тот же Аюб, который уехал на заработки и вернулся с пустыми руками, но с целой душой. Душа моя теперь была не цела — она была разбита и собрана заново, и Тот, Кто собрал её, вложил в неё новую песнь, которая рвалась наружу, и удержать её было бы так же невозможно, как удержать родовые схватки.

Я думал о Сафии — о её глазах, тёмных и глубоких, как колодцы, из которых я пил воду все эти годы. Я вспоминал, как она смотрела на меня в день нашей свадьбы, когда мне было восемнадцать, а ей — четырнадцать, и мы оба были детьми, не понимавшими, что такое брак, но знавшими, что отныне мы связаны навек, как два дерева, посаженных слишком близко, чьи корни неизбежно переплетутся. За семнадцать лет нашего супружества мы пережили многое: смерть нашего первенца, умершего от лихорадки в младенчестве; годы нужды, когда я работал на кирпичном заводе за гроши, которых едва хватало на лепёшки; ночи, когда мы лежали без сна, слушая грохот бомбёжки, и она клала голову мне на плечо и шептала: «Иншаллах, всё будет хорошо». Она была моей опорой, моей гаванью, моим единственным домом, даже когда стены нашего жилища трескали по швам. И теперь я должен был сказать ей, что человек, которого она любила все эти годы, был не тем, кем она его считала. Что он был убийцей, пусть и не успевшим совершить убийство. Что он был лжецом, пусть и лгавшим во имя того, что почитал истиной. И что теперь он нашёл Истину — но Истина эта такова, что может стоять им всем жизни.

Я боялся. Боялся не за себя — что мне могла сделать смерть, когда я уже умер там, на рынке, и воскрес в новую жизнь? — а за неё, за детей, за тот хрупкий мир, который мы построили из обломков войны, бедности и взаимного терпения. Но страх мой, как это ни странно, не ослаблял решимости, а, напротив, укреплял её, ибо чем больше я боялся, тем яснее понимал: если я промолчу сейчас, я предам не только Того, Кто коснулся моего плеча, но и свою семью, которую лишу единственной возможности узнать то, что узнал я. Молчание было бы ложью, а ложь, как я прочёл в Евангелии от Иоанна, есть дело отца лжи, дьявола, который был человекоубийцей от начала.

Я подошёл к нашему посёлку на закате, когда солнце уже коснулось горизонта и пыль, поднятая дневным ветром, висела в воздухе золотистой взвесью, превращая убогие лачуги в подобие небесного града. Наш дом стоял на окраине, втиснутый между двумя такими же бедными строениями из шлакоблоков и ржавого железа, и только виноградная лоза, посаженная Сафией у крыльца, придавала ему вид живой и даже уютный. Лоза разрослась, оплела шаткий навес и теперь зеленела молодыми листьями, и в её тени, как я разглядел, приближаясь, сидела моя младшая дочь Амира и кормила козу — ту самую, что мы купили в прошлом году на

деньги, посланные, как думала Сафия, из Турции, а на самом деле — из казны ячейки, и от этого воспоминания меня передёрнуло.

Амира увидела меня первой. Она вскочила, опрокинув миску с отрубями, и с криком «Баба! Баба вернулся!» бросилась мне навстречу, и её маленькие ноги в стоптанных сандалиях мелькали так быстро, что она споткнулась и упала бы, если бы я не подхватил её. Я прижал её к себе, вдыхая запах её волос — запах дыма, сухой травы и детства, — и почувствовал, как к горлу подступает ком, который я сглотнул с трудом. Она была такая лёгкая, моя семилетняя дочь, лёгкая и хрупкая, как та птичка, что свила гнездо под нашей крышей, и мысль о том, что из-за меня ей может грозить опасность, пронзила меня острее ножа.

Из дома вышла Сафия, вытирая руки о передник, и замерла на пороге. Она смотрела на меня долгим, изучающим взглядом, и в этом взгляде я прочёл всё, что она не говорила вслух: тревогу, радость, обиду, непонимание. Я опустил Амиру на землю и сделал шаг к жене, но она не двинулась мне навстречу, и в этом молчаливом стоянии на расстоянии вытянутой руки было больше горечи, чем в иных криках.

— Ты вернулся, — сказала она наконец, и голос её был ровным, но в этой ровности я расслышал те глубинные течения, что бурлят под спокойной гладью воды. — Мы не ждали тебя так скоро. Ты не прислал весточки. Я думала... — Она не договорила, но я понял, что она думала: что я погиб, что меня уже нет в живых, что она осталась вдовой с четырьмя детьми в стране, раздираемой войной. И она имела право так думать, потому что я действительно едва не погиб — только не от бомбы, а для бомбы, и это различие, стирающееся в повседневном языке, для меня теперь было равносильно пропасти.

— Я должен был прийти раньше, — сказал я, и голос мой прозвучал хрипло, как после долгой болезни. — Но случилось нечто, что задержало меня. Нечто важное. Я всё расскажу тебе. Только не здесь.

Сафия кивнула, но в её глазах мелькнула тень — та самая, что появляется у людей, привыкших к плохим новостям и инстинктивно готовящихся к очередному удару. Она взяла Амиру за руку и повела в дом, а я пошёл за ними, чувствуя, как знакомые стены смыкаются вокруг меня, и в их замкнутости было что-то одновременно удушающее и успокаивающее, как в материнской утробе, из которой ты уже вышел, но память о которой живёт в каждой клетке тела.

Внутри было почти темно — горела только масляная лампа на низком столике, — и в этом полумраке я разглядел остальных детей. Надир, мой тринадцатилетний сын, сидел на полу, поджав под себя ноги, и что-то строгал ножом из куска дерева; он поднял на меня глаза — они у него были мои, тёмные, чуть раскосые, с тем же упрямым прищуром, — и кивнул сдержанно, как подобает мужчине, но я видел, что он рад. Зейнаб, одиннадцатилетняя, сидела в углу на корточках и месила тесто, и при моём появлении она улыбнулась той особенной, кроткой улыбкой, которая всегда напоминала мне Сафию в юности. А маленький Юсуф, четырёхлетний, спал на циновке, раскинув руки и приоткрыв рот, и дыхание его было таким мирным, что у меня защемило сердце.

Сафия велела Надиру и Зейнаб отвести Амиру во двор и закончить вечерние дела, а сама села напротив меня, сложив руки на коленях, и приготовилась слушать. Я видел, как напряглась её спина, как побелели костяшки пальцев — она знала, что разговор будет тяжёлым, и готовилась к нему, как воин готовится к битве, в которой невозможно победить, но можно выстоять.

И я начал говорить. Я говорил долго — быть может, несколько часов, — и в моём рассказе не было ни утайки, ни прикрас. Я рассказал ей о том, кем я был на самом деле — не просто мужем и отцом, уехавшим на заработки, а членом подпольной ячейки, солдатом джихада, который убивал и готовился убивать вновь. Я рассказал о шейхе Тарике, который заменил мне отца и который учил, что нет выше добродетели, чем отдать жизнь за веру, и что убий-

ство неверных — не грех, а обязанность. Я рассказал о теракте на рынке, о пальце, лёгшем на кнопку, о секунде, отделявшей меня от смерти и от вечности, в которой я предстал бы перед Богом с кровью десятков людей на руках. И затем — о прикосновении. О тепле, проникшем до самого сердца. О голосе, который сказал: «Я прощаю тебя». О вопросах и ответах. Об Иисусе.

Когда я произнёс это имя, Сафия вздрогнула, как от удара, и я увидел, как в её глазах вспыхнул гнев — тот гнев, что рождается не из ненависти, а из любви и страха, когда любимый человек вдруг оказывается не тем, кого ты знала, а чужим, говорящим на незнакомом языке.

— Иса? — переспросила она шёпотом, и в этом шёпоте было больше крика, чем в ином вопле. — Ты хочешь сказать, что тебе явился пророк Иса? Но ведь он — не Бог, он — лишь человек, посланник, раб Аллаха, мир ему. Коран говорит ясно: «Не веруют те, которые говорят, что Мессия, сын Марьям, есть Бог». Ты что, забыл аяты? Ты что, стал муртаддом, веротступником?

Я покачал головой — не отрицая, а скорее признавая, что её реакция справедлива, что она имеет право на этот гнев, на этот страх, на это непонимание.

— Я не знаю, кто я теперь, — сказал я тихо. — Я знаю только, что Тот, Кто говорил со мной, — не просто пророк. Пророк не говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Пророк не говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Пророк не прощает грехи — он лишь возвещает о прощении. А Он простил. Меня. Там, на рынке, когда я стоял с пальцем на кнопке. Он не спросил, достоин ли я. Он не потребовал покаяния. Он просто простил. И это прощение... — я замолчал, подбирая слова, и наконец нашёл их: — Это прощение было таким, какого не может дать ни один человек, ни один ангел, ни один пророк. Только Бог может так простить.

Сафия молчала, и молчание её было густым, как смола, в которой вязнут слова. Я видел, как в ней борются противоречивые чувства: любовь ко мне, ужас перед моим вероотступничеством, страх за детей, которых я, по её мнению, подвергаю опасности не только телесной, но и духовной. Её лицо, освещённое колеблющимся пламенем лампы, то становилось жёстким, почти чужим, то смягчалось, и в нём проступали следы той девочки, которую я когда-то впервые увидел на смотрах, — испуганной, но полной внутреннего достоинства.

— Ты болен, — сказала она наконец, и голос её дрогнул. — Ты много пережил, ты не спал, ты голодал — вот тебе и привиделось. Это шайтан искушает тебя, Аюб. Он принимает облик света, чтобы сбить правоверных с пути. Разве ты не знаешь этого? Разве шейх Тарик не учил тебя, что сатана хитёр и может являться в самых благочестивых образах? Ты должен покаяться, совершить гусль, полное омовение, и вернуться к истинной вере. Я буду молиться за тебя. Дети будут молиться. Иншаллах, Аллах простит тебя и вернёт тебе разум.

Она потянулась ко мне, взяла мои руки в свои, и ладони у неё были горячими, сухими, шершавыми от работы — ладони женщины, которая никогда не знала праздности, — и столько в этом жесте было нежности, столько отчаянной надежды, что моё сердце сжалось. Я понимал её. Я сам, ещё неделю назад, сказал бы то же самое любому, кто пришёл бы ко мне с подобным рассказом. Но теперь я знал то, чего она не знала, и это знание стояло между нами, как стена, которую невозможно обойти — можно только пробить, но от ударов будет больно нам обоим.

Я высвободил руки — мягко, но решительно — и достал из-за пазухи Евангелие. Сафия отшатнулась, увидев на обложке золотой крест, и пробормотала «Аузу билляхи мин аш-шайтан ир-раджим» — «Прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями».

— Не бойся, — сказал я. — Это просто книга. Та самая книга, которую Коран называет Инджиль и велит уважать как откровение от Аллаха. Я нашёл её в развалинах и прочитал. И то, что я прочитал, подтвердило всё, что я слышал там, на рынке. Послушай. — Я раскрыл книгу на том месте, где остановился в прошлый раз, и начал читать вслух, по-арабски, медленно, давая каждому слову впитаться в воздух, в стены, в наши сердца: — «Истинно, истинно говорю

вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь».

Я читал дальше — о воскрешении Лазаря, о слепом, которому Иисус даровал зрение, о самарянке у колодца, которой Он открыл, что Он есть Мессия. Я читал о том, как Он сказал: «Я и Отец — одно», и о том, как иудеи схватили камни, чтобы побить Его за богохульство, — и я видел, как лицо Сафии меняется, как сквозь страх и гнев проступает что-то иное: не вера ещё, но то любопытство, что предшествует вере, та жажда истины, которая, однажды пробудившись, уже не даст покоя.

Когда я закрыл книгу, в комнате было совсем тихо — только сверчок трещал где-то в углу да дыхание спящего Юсуфа, ровное и безмятежное, напоминало нам обоим, что жизнь продолжается, что бы ни происходило в мире взрослых. Сафия долго смотрела на меня, и в её глазах стояли слёзы — те слёзы, что не проливаются, а застывают на границе век, делая взгляд бездонным.

— Ты веришь в это, — сказала она не спрашивая, а утверждая, и в её голосе не было уже прежней враждебности, а только усталость и боль. — Ты действительно веришь, что этот человек — Бог. Что Он умер на кресте и воскрес. Что Он простил тебя. Но что мне делать с этой верой, Аюб? Что делать нашим детям? Если кто-нибудь узнает, что ты стал христианином, нас всех убьют. И не просто убьют — объявят вероотступниками, опозорят на весь род, сотрут с лица земли, как стирают грязь с подошвы. Ты понимаешь это?

— Понимаю, — сказал я. — И я не прошу тебя верить прямо сейчас. Я прошу только одного: подумай. Прочти эту книгу сама. И спроси у Бога — не у того бога, которого мы привыкли бояться, а у Того, Кто сказал: «Я прощаю тебя». Спроси у Него, правда ли это. И если Он ответит тебе так же, как ответил мне, — тогда мы вместе решим, что делать дальше.

Сафия ничего не ответила. Она встала, подошла к спящему Юсуфу, поправила одеяло и постояла над ним, глядя его по голове той машинальной, бесконечно нежной лаской, которая знакома всем матерям мира. Потом она повернулась ко мне и сказала:

— Я не обещаю. Но я подумаю. А теперь ложись спать — ты едва стоишь на ногах. И спрячь эту книгу так, чтобы дети не нашли. Надир уже достаточно взрослый, чтобы задавать вопросы, на которые у меня нет ответов.

Я кивнул и, обессиленный, опустился на циновку рядом с Юсуфом. Сафия ушла в соседнюю комнату, и я слышал, как она долго ворочается, вздыхает и что-то шепчет — не то молится, не то плачет, не то и то и другое вместе. А я лежал, глядя в потолок, по которому пробегали тени от масляной лампы, и думал о том, что сделал первый шаг — самый трудный шаг, шаг, похожий на прыжок в пустоту, — и что теперь всё зависит от Того, Кто держит эту пустоту в Своей руке.

Перед тем как провалиться в сон, я вспомнил ещё одни слова из книги: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». Я пришёл. Я был обременён — ложью, кровью, страхом, — и Он действительно дал мне покой, тот покой, который не от мира сего и который никто не может отнять. Оставалось только молиться, чтобы и Сафия когда-нибудь пришла к тому же источнику и напилась той же воды.

За окном занимался рассвет, и где-то далеко, в разрушенном Алеппо, муэдзин запел свою песнь, призывая правоверных к молитве. Но я уже не был среди них. Я был с Тем, Кто сказал: «Я есмь путь». И я надеялся, что этот путь приведёт меня не к гибели, а к жизни — к той жизни, которую Он обещал дать с избытком.

Глава 4. Семья, упавшее в дом

Прошло несколько дней — я не считал их, но чувствовал, как время, прежде летевшее неумолимо, как пуля к цели, теперь замедлилось, сделалось густым и вязким, как мёд, стекающий с ложки, и в этой густоте каждое мгновение обретало вес, которого я прежде не знал. Я жил теперь в странном, подвешенном состоянии: с одной стороны, я был дома, среди родных стен, среди запахов кипящего нута и детских голосов, среди привычных утренних ритуалов, когда Сафия разливала чай в маленькие стаканчики, а Амира, смеясь, пыталась заплести козе хвост. С другой стороны, я чувствовал себя гостем, пришельцем, человеком, который смотрит на всё это из-за стекла, — не потому, что я разлюбил их, а потому, что тайна, жившая во мне, отделяла меня от них, как река отделяет один берег от другого, и переправа через эту реку ещё не была наведена.

Я изменился, и они это чувствовали. Не могли не чувствовать, потому что перемены, произошедшие со мной, были не внешними — я не стал носить крест на груди, не перекрещивал лоб перед едой, не произносил вслух имени Иисуса, кроме как в ночных разговорах с Сафией, — но внутренними, на уровне взгляда, интонации, того, как я двигался по дому, как слушал детей, как молчал. Прежде моё молчание было тяжёлым, как камень, — молчание человека, который привык подавлять в себе всё живое, чтобы стать орудием. Теперь же оно было иным — наполненным, как молчание человека, который наконец услышал то, что заглушал годами, и теперь вслушивается в эхо этого звука, ещё не до конца веря, что он реален.

Надир первым заметил разницу. Мой старший сын, тринадцатилетний мальчик с глазами, которые видели больше, чем следовало в его возрасте, — глазами, в которых детская наивность уже смешалась с той преждевременной взрослостью, что приходит к детям войны. Однажды вечером, когда Сафия ушла к соседке за солью, а младшие играли во дворе, он подошёл ко мне и сел рядом, не глядя на меня, уставившись в стену, на которой висел старый ковёр с изображением Каабы — подарок моей покойной матери, да помилует её Аллах.

— Папа, — сказал он тихо, и голос его, ломающийся, переходящий с детского дисканта на юношеский басок, дрогнул. — Ты больше не молишься. Я видел. Ты не встаёшь на рассвете, не совершаешь намаз. И ты не говоришь «бисмилля» перед едой, хотя раньше всегда говорил. Что-то случилось?

Я помолчал, собираясь с мыслями. С Надиром нужно было говорить иначе, чем с Сафией, — не как с человеком, которого нужно убедить или успокоить, а как с равным, потому что он уже переступил порог, отделяющий детство от зрелости, и ложь, даже самая благонамеренная, могла ранить его глубже, чем любая правда.

— Ты прав, — сказал я. — Я больше не молюсь так, как раньше. Но это не значит, что я перестал верить в Бога. Напротив. Я нашёл Его — или, вернее, Он нашёл меня. Но это долгая история, Надир, и я не знаю, готов ли ты её услышать.

Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел ту же смесь страха и решимости, что видел в глазах Сафии в ночь моего признания. Дети так похожи на родителей — не только чертами лица, но и тем, как они боятся, как надеются, как цепляются за привычный мир, даже когда этот мир трещит по швам.

— Я готов, — сказал он. — Я не маленький. Я видел, как люди умирают. Я видел, как наш сосед дядя Халид лежал на улице после обстрела, и никто не мог подойти к нему, потому что снайпер стрелял по каждому, кто приближался. Я могу выдержать правду.

И тогда я рассказал ему — не всё, потому что о теракте и о том, что я был смертником, я не мог сказать сыну, не разрушив его образа отца до основания, — но главное. Я рассказал, что со мной случилось нечто, чего я сам не могу до конца объяснить. Что я встретил Бога — не в мечети, не в молитве, не в словах шейха, а в тишине, которая больше любой молитвы. Что

этот Бог говорил со мной и сказал слова, которых нет в Коране. Что Он простил меня — за то, о чём Надир не знает и, даст Бог, никогда не узнает. И что с тех пор я читаю книгу, которая называется Инджиль, и нахожу в ней ответы на вопросы, которые прежде боялся задавать.

Надир слушал, не перебивая, и его лицо, освещённое закатными лучами, было серьёзным и сосредоточенным, как у писца, переписывающего священный текст. Когда я закончил, он долго молчал, а потом спросил — и вопрос его поразил меня в самое сердце, потому что я не ожидал от тринадцатилетнего мальчика такой глубины:

— Папа, а как ты узнал, что это был Бог, а не шайтан? Шейх Тарик всегда говорил, что сатана может притворяться ангелом. Как ты отличил?

Я посмотрел на свои руки — руки, которые ещё недавно сжимали оружие и которые теперь лежали на коленях, беспомощные и пустые, — и ответил не сразу. Правда, которую я должен был сказать сыну, была слишком проста и слишком сложна одновременно.

— Есть только один способ отличить, — сказал я. — По плодам. Иса — так мы называем Его, но истинное имя Его — Иисус, — Он сказал: «По плодам их узнаете их». Если то, что я чувствую, приносит мир, любовь, желание прощать, а не ненавидеть, страх не перед наказанием, а перед тем, чтобы огорчить Любящего, — значит, это от Бога. Шайтан не может дать мир, Надир. Он может только украсть его. А то, что я испытал там, на рынке, — это был такой мир, какого я не знал никогда. Мир, который не зависит от обстоятельств. Мир, который остаётся, даже когда всё вокруг рушится. Разве может сатана дать то, чего сам не имеет?

Надир кивнул задумчиво, и я увидел, как в его глазах зажётся тот огонёк, который я так хорошо знал по себе, — огонёк ищущего, огонёк человека, который не удовлетворяется готовыми ответами и хочет докопаться до истины, даже если для этого придётся перекопать всю почву своей души.

— Ты дашь мне почитать эту книгу? — спросил он. — Инджиль? Я хочу сам увидеть, что там написано.

Я колебался лишь мгновение. Потом достал Евангелие из тайника — я прятал его за балкой под потолком, куда не могли добраться ни дети, ни случайные гости, — и протянул сыну. Он взял книгу с тем благоговением, с каким берут нечто хрупкое и бесценное, и осторожно раскрыл её.

— Начни с Евангелия от Иоанна, — сказал я. — Там, где написано: «В начале было Слово». Это четвёртая книга.

Он кивнул и ушёл в угол, к окну, где ещё догорал вечерний свет, и я видел, как его губы беззвучно шевелятся, перебирая арабские буквы, как лоб его морщится от напряжения, как он иногда останавливается и смотрит вдаль, поверх домов, поверх оливковых рощ, куда-то туда, где небо встречается с землёй, — и я молился за него той новой молитвой, которая была даже не словами, а беззвучным движением сердца к Тому, Кто держал это сердце в Своей ладони.

А Сафия наблюдала за мной — я чувствовал это каждый миг, даже когда не видел её. Она наблюдала, как я играю с младшими, как помогаю по дому, как разговариваю с детьми, и в её взгляде читалась та мучительная двойственность, которая разрывает любящего человека, когда он видит, что любимый изменился, но ещё не знает, к лучшему эти перемены или к худшему. Она выполняла мою просьбу: я знал, что она читает книгу, потому что несколько раз заставлял её с ней, и она поспешно прятала её, краснея, словно совершала нечто запретное. Но она не заговаривала об этом — и я не торопил её, помня, как долго зерно лежит в земле, прежде чем дать росток, и как бессмысленно теревить землю, пытаясь ускорить то, что совершается втайне.

Однажды ночью, когда дети уже спали, а мы лежали в темноте, слушая далёкий гул артиллерии, она вдруг заговорила — тихо, почти шёпотом, как будто боялась, что стены услышат её слова и передадут их кому не следует.

— Я прочла ту часть, где Его распинают, — сказала она. — И я не могу понять. В Коране сказано ясно: «Они не убили его и не распяли, но это только показалось им». А в твоей книге

всё описано так подробно — гвозди, кровь, жажда, последний крик. И эта женщина, Марьям, которая стоит у креста и смотрит, как умирает её сын. Я читала и плакала, Аюб. Я плакала, хотя не верю, что это правда. Почему я плакала?

Я повернулся к ней, но в темноте видел только контур её лица, смягчённый отсутствием света.

— Ты плакала, потому что это правда, — сказал я. — Сердце знает истину, даже когда разум отказывается её принять. Я тоже плакал, когда читал это. Я плакал, потому что понял: Он умер за меня. За то, что я собирался сделать. За то, что я делал раньше. За всё зло, которое я носил в себе и считал добром. И если бы Он не воскрес — всё было бы напрасно. Но Он воскрес, Сафия. И это меняет всё.

Она не ответила, но я слышал, как изменилось её дыхание — стало более глубоким, более ровным, — и понял, что она плачет, беззвучно, как плачут взрослые, когда слёзы уже не приносят облегчения, а только свидетельствуют о том, что душа достигла предела и больше не может удерживать внутри то, что её переполняет.

Я обнял её — впервые с тех пор, как вернулся, потому что между нами всё это время стояла невидимая преграда, и теперь она рухнула, по крайней мере на эту ночь, — и она прижалась ко мне, как прижималась в первые годы нашего брака, когда мы были молоды и верили, что любовь может защитить от всего. Я гладил её волосы, чувствуя, как вздрагивают её плечи, и думал о том, что благодать, коснувшаяся меня на рынке, теперь просачивается сквозь меня к ней, как вода просачивается сквозь пористый камень, находя мельчайшие трещины и заполняя их собой, не разрушая, но преображая.

На следующее утро произошло ещё одно событие, маленькое и незаметное для постороннего глаза, но огромное для нас. За завтраком, когда все сидели вокруг низкого столика и макали лепёшки в оливковое масло, Зейнаб, наша одиннадцатилетняя дочь, спросила — просто, без задней мысли, как спрашивают дети, ещё не научившиеся бояться собственных вопросов:

— Папа, а Иса, о котором ты рассказывал Надиру, — Он правда любит детей? Мама говорила, что в Коране написано, что Он был великим пророком. Но пророки не всегда любят детей. Муса убивал врагов, Ибрахим готов был принести сына в жертву. А Иса — какой Он?

Я посмотрел на Сафию, и она опустила глаза, потому что знала: дочь задала вопрос, на который у неё самой ещё не было ответа. И тогда я вспомнил место из Евангелия, которое перечитывал много раз, — то, где ученики не пускали детей к Иисусу, а Он рассердился и сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».

Я рассказал это Зейнаб, и она выслушала с тем серьёзным вниманием, которое так свойственно детям, когда они чувствуют, что речь идёт о чём-то по-настоящему важном, а не о взрослых условностях. А потом она спросила — и в этом вопросе было столько простодушной мудрости, что я на мгновение лишился дара речи:

— Значит, если Он любит детей, Он любит и Юсуфа, и Амиру, и меня? И Он не рассердится, если мы будем молиться Ему, даже если мы не знаем правильных слов?

— Не рассердится, — сказал я, чувствуя, как ком подступает к горлу. — Он Сам сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное». Это значит, что дети ближе к Нему, чем самые учёные богословы. Потому что они верят просто, без сомнений и расчётов.

Зейнаб улыбнулась — той светлой, безмятежной улыбкой, которую я не видел у неё уже много месяцев, — и вернулась к своей лепёшке. А Сафия посмотрела на меня долгим взглядом, в котором я прочёл больше, чем могли бы выразить слова: удивление, надежду и тот особый, трепетный страх, который испытывает человек, стоящий на пороге великой тайны и ещё не знающий, хватит ли ему мужества переступить этот порог.

Вечером того же дня, когда солнце уже село и над посёлком сгустились сумерки, разбавленные лишь светом далёких пожаров на горизонте, я впервые собрал всю семью для того, что ещё не решался назвать молитвой, но что уже было ею по сути. Мы сели в круг — я, Сафия, Надир, Зейнаб, Амира и маленький Юсуф, который больше вертелся, чем слушал, — и я раскрыл Евангелие на том месте, где говорилось о блудном сыне. Я выбрал эту притчу не случайно: она была обо мне, о моём уходе и возвращении, о том, как отец выбежал навстречу сыну, когда тот был ещё далеко, и, не дожидаясь покаяния, обнял его и поцеловал. Я читал, и мой голос прерывался, потому что каждое слово этой истории было выжжено в моём сердце калёным железом, и дети слушали, притихшие, даже Юсуф перестал возиться и замер, глядя на меня широко раскрытыми глазами.

Когда я закончил, Надир спросил:

— Значит, Бог — как этот отец? Он ждёт нас, даже когда мы уходим и делаем плохие вещи? И когда мы возвращаемся, Он не наказывает нас, а бежит навстречу?

— Да, — сказал я. — Именно так. И я знаю это, потому что Он сделал это со мной.

Наступила тишина — та особенная тишина, в которой слова уже не нужны, потому что самое главное уже сказано, и теперь каждый должен услышать его внутри себя, в той глубине, где живёт тоска по дому, даже если ты никогда не покидал его физически. Потом Сафия встала, подошла ко мне и положила руку мне на плечо — так, как Тот, Другой, положил Свою руку на рынке, но теперь это было не прикосновение Бога, а прикосновение человека, который сделал первый шаг навстречу.

— Я ещё не знаю, верю ли я, — сказала она тихо, чтобы дети не слышали. — Но я хочу верить. Молись за меня, Аюб. Молись своему Иисусу, чтобы Он открыл мне глаза.

И я молился — в ту ночь, и в следующую, и во все последующие ночи, — молился так, как никогда не молился за себя, потому что теперь на кону была не только моя душа, но и души тех, кого я любил больше жизни. Я просил, вспоминая слова, которые прочёл в той же книге: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам». Я стучал, и я верил, что дверь отворится, потому что Тот, Кто стоит за ней, уже доказал Свою любовь тем, что принял меня — блудного сына, смертника, убийцу — и назвал Своим.

Глава 5. Сон Сафии

В ту ночь, о которой я поведу речь, луна стояла высоко — та самая бледная, ущербная луна, что висит над землёй в последние ночи Рамадана, когда пост ещё не завершён, но уже ощущается его скорое окончание, и в воздухе разлито то особенное, томительное ожидание, какое бывает только на стыке одного времени и другого, когда старое ещё не ушло, а новое уже дышит в затылок, и никто не знает, чем обернётся эта встреча. Я лежал без сна, хотя тело моё ныло от усталости, и слушал, как дышит Сафия — не ровным, спокойным дыханием спящего, а тем прерывистым, напряжённым ритмом, который выдаёт работу души, не прекращающуюся даже во сне.

Она много дней уже жила с этой книгой — я знал это, хотя она не говорила мне. Я видел, как она украдкой брала Евангелие с полки, когда думала, что я занят с детьми, и уносила в ту часть дома, которую мы называли кухней, хотя от кухни там была лишь ржавая печка да таз для мытья посуды. Я видел, как её губы беззвучно шевелились, перебирая арабскую вязь, и как она иногда замирала, уставившись в одну точку, и глаза её наполнялись тем особенным, отсутствующим выражением, которое бывает у человека, внезапно услышавшего нечто, чего он прежде не понимал, но что вдруг отозвалось в самой сердцевине его существа. И ещё я видел, как она изменилась в быту — стала мягче с детьми, меньше кричала на Амиру за пролитое молоко, меньше ворчала на Надира за то, что он приносит в дом стружки от своего бесконечного строгания. Она всё ещё молилась по-старому, но в её молитвах появились паузы — те красноречивые провалы тишины, в которых, как мне казалось, она не решалась произнести запретное имя, но уже не могла произносить прежние.

В ту ночь я проснулся оттого, что она вскрикнула. Не громко, не так, как кричат от ужаса, но так, как вскрикивает человек, которого внезапно коснулась чья-то рука, и прикосновение это было не пугающим, а, напротив, долгожданным, но всё же неожиданным — как бывает, когда ты годами ждёшь вести от пропавшего брата, и вдруг, в самый обычный день, входит посыльный и кладёт перед тобой письмо, и ты не можешь сдержать тот первый, непроизвольный возглас, в котором смешаны облегчение, недоверие и радость. Я приподнялся на локте и увидел, что она сидит на циновке, обхватив колени руками, и смотрит в темноту широко раскрытыми глазами, в которых стояли слёзы, но не слёзы горя, а те, что льются от избытка сердца, когда оно переполнено и больше не может удерживать то, что в него влилось.

— Что случилось? — спросил я шёпотом, чтобы не разбудить Юсуфа, спавшего тут же, на соседней циновке, с кулачком, зажатым под щекой.

Она долго молчала, собираясь с силами, и я видел, как вздымается и опускается её грудь, как трясутся руки, которые она пыталась унять, сложив их на коленях, и как она сглатывает, будто слова застряли в горле и не желают выходить наружу. Наконец она повернулась ко мне, и даже в темноте я увидел, что лицо её светится — нет, не физическим светом, а тем внутренним сиянием, которое не спутаешь ни с чем, если хоть раз видел его на лице человека, прикоснувшегося к вечности.

— Я видела сон, — сказала она, и голос её дрожал, но не от страха, а от того трепета, который испытывает пророк, возвращаясь с горы, где говорил с Богом. — Я видела человека в белых одеждах. Он стоял посреди нашего дома, но дом был не таким, как сейчас, — не бедным, не покосившимся, а светлым, полным солнца, хотя я знала, что на дворе ночь. Он посмотрел на меня, и в глазах его было столько любви, сколько я никогда не видела ни в одних человеческих глазах, — любви, которая не требует ничего взамен, которая не оценивает, достоин ли ты, которая просто изливается, как вода из источника, и наполняет всё вокруг. И Он сказал мне... — Она запнулась, и я увидел, как по щеке её побежала слеза, одна-единственная, но крупная, как роса на виноградном листе. — Он сказал: «Не бойся, только веруй».

Тишина, наступившая после этих слов, была такой глубокой, что я услышал, как бьётся моё собственное сердце, — или, может быть, это было её сердце, потому что теперь наши сердца бились в одном ритме, как два голоса, сливающиеся в один хор. Я знал эти слова. Я читал их в Евангелии от Марка, где начальник синагоги Иаир пришёл к Иисусу с вестью о том, что его дочь умерла, и Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй» — и потом вошёл в дом, где уже плакали наёмные плакальщицы, и взял мёртвую девочку за руку, и вернул её к жизни. Я не рассказывал Сафии этой истории — она должна была дойти до неё сама, если бы продолжила читать, — но теперь я знал, что Тот, Кто говорил с ней во сне, повторил ей те же слова, и это не могло быть совпадением, потому что совпадений не бывает в мире, где каждая травинка сочтена и каждый волос на голове имеет своё место в замысле Творца.

— Ты знаешь, кто это был? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— Да, — прошептала она, и имя, которое она произнесла, было не «Иса», как прежде, не то имя, которое можно найти в Коране, на странице, заложённой засушенным цветком, но другое, новое для неё, но древнее, как само творение, — она произнесла: «Иисус». И когда это слово сорвалось с её губ, что-то изменилось в самой атмосфере комнаты, как будто воздух сгустился и стал звонким, как хрусталь, и каждый звук — шорох циновки, дыхание спящего ребёнка, далёкий лай бродячей собаки — приобрёл значительность и вес, каких не имел мгновением раньше.

Она рассказала мне свой сон подробно, и я слушал, боясь пропустить хоть одно слово. В её сне — или видении, потому что я уже не сомневался, что это было видение, — Иисус не просто стоял и говорил. Он протянул к ней руку, и на ладони Его она увидела рану, круглую, сквозную, как будто от гвоздя, и из этой раны исходил свет, который был ярче солнечного, но не ослеплял, а давал способность видеть всё так ясно, как она никогда не видела прежде. И Он сказал ей ещё — она не могла вспомнить точных слов, потому что слова, произнесённые там, были не столько арабскими или какими-либо иными человеческими словами, сколько той предвечной речью, которую душа понимает без перевода, но смысл был таков: то, что она читала в книге, — правда; то, во что поверил её муж, — истина; и теперь она должна решить, пойдёт ли она за Ним, даже если этот путь приведёт её к страданию и смерти. Но в Его голосе не было угрозы или принуждения — только призыв, свободный, как ветер, который дует, где хочет, и приглашает, но не тащит.

Когда она закончила, она замолчала, и я молчал тоже, потому что в такие моменты слова не нужны, а нужна только тишина, в которой душа переваривает то, что получила, и раскладывает по тем полкам, которых у неё раньше не было. Потом она подняла на меня глаза — и это были уже не те глаза, что смотрели на меня с недоверием и страхом в ночь моего возвращения. Это были глаза человека, который перешёл через реку и теперь стоит на другом берегу, и хотя этот берег ему ещё не знаком, он уже знает, что дороги назад не будет, потому что мосты за его спиной сгорели, и пламя этого пожара было освящающим.

— Я хочу креститься, — сказала она просто, будто речь шла о покупке соли на базаре. — Ты говорил, что те, кто верят в Иисуса, принимают водное крещение, как Он Сам крестился от Иоанна в Иордане. Я хочу этого. И дети — я хочу, чтобы дети тоже крестились. Если то, что мы нашли, — правда, то мы не можем оставить их во тьме.

Я привлёк её к себе, и мы сидели так, обнявшись, среди спящих детей, среди нищеты и опасностей, среди войны, которая грохотала где-то за горизонтом, — но в этот миг ничто из этого не имело значения, потому что мёртвый ожил, потерянное нашлось, и ещё одна душа, самая дорогая для меня на этой земле, была вырвана из когтей лжи и перенесена в Царство Света. Я вспомнил притчу о сокровище, скрытом в поле, которое человек нашёл и, перепродав всё, что имел, купил то поле. Мы с Сафией продали всё — нашу прежнюю религию, наши прежние убеждения, нашу прежнюю безопасность, — но мы приобрели поле, в котором было сокровище, и это сокровище стоило всего, что мы отдали и ещё отдадим.

На следующий день мы начали готовиться к крещению. Я не знал тогда того, что узнал позже, — не знал, что Церковь, основанная апостолами, хранит полноту таинств, что крещение совершается не просто в любой воде, но в воде освящённой, что за ним следует миропомазание, преподание даров Святого Духа, и что совершать всё это должен епископ или священник, получивший благодать через возложение рук в непрерывной цепи преемства от самих апостолов. Я был мусульманином, ставшим христианином через чтение книги, без наставника, без общины, без Церкви, — и потому понимал лишь то, что открывалось мне на страницах Евангелия и Деяний, а открывалось мне тогда не всё, а лишь необходимое для спасения. Но и того, что я понимал, было достаточно, чтобы сознавать: мы не можем откладывать.

Я объяснил Сафие и детям — тем, кто уже мог понимать, — что крещение есть не просто человеческий обряд, не просто знак, который мы ставим на своей вере, как ставят печать на письме, но есть таинство, в котором человек реально умирает для прежней жизни и рождается для новой, соединяется со Христом в Его смерти и воскресении, омывается от грехов и получает дар Святого Духа. Я не мог выразить это теми словами, которыми выражает Церковь, потому что не знал их, но я чувствовал самую суть: вода в этом таинстве — не просто вода, а купель, в которой Бог совершает то, что человек совершить не в силах. Я прочёл им из Деяний апостолов о том, как Филипп крестил эфиопского евнуха прямо на дороге, как только тот исповедал веру в Иисуса Христа, и о том, как в день Пятидесятницы тысячи людей крестились, не откладывая, и о том, как апостол Пётр сказал: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Я не знал тогда, что эти слова — основа того, что Церковь называет крещальной благодатью, что вода и Дух соединены в этом таинстве так же неразрывно, как соединены в личности Христа две природы, божественная и человеческая.

Мы не могли пойти в церковь — в нашем посёлке её не было, а в Алеппо христианские храмы были либо разрушены, либо находились под охраной правительственных войск, и идти туда означало выдать себя с головой. Но я помнил, что и первые христиане часто крестились в реках, в прудах, в любых водах, которые были под рукой, — не потому, что вода важна сама по себе, а потому, что Церковь в крайней нужде, при отсутствии священника, допускает крещение, совершённое мирянином, лишь бы оно было совершено во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, с верой и намерением сделать то, что делает Церковь. Я не знал этих формул, не знал канонов, но сердце моё, ведомое Духом, само подсказывало мне, что если мы не можем прийти к Церкви, то Церковь в своей полноте не может не прийти к нам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.